

Григорий Померанц

Сквозь облако мифов

Один из парадоксов русской истории – разрыв между бедностью фольклора восточных славян и богатством взлетов русской культуры. Об этом писали мыслители серебряного века и снова пишет игумен о.Вениамин Новик, автор замечательной книги «Православие, христианство, демократия», в своей недавней статье. После ряда цитат из статьи Г.П.Федотова он заключает:

«Славянская языческая религиозность связана с мистикой земных стихий, особенно с землей и водой... Эта женственная по своей природе мистика не уравновешена небесной (мужской) мистикой света и разума... В этической сфере это приводит к недостаточному различению добра и зла. В эстетической это находит выражение в пластичности, как «перетекания» одного в другое. Это порождает такую опасную черту в национальном характере, как привычку к абсурду». Древнерусское сознание «богословствует в красках», как писал князь Трубецкой, – а не в мысли. По наблюдениям о.Вениамина, «убожество интеллектуальной культуры Древней Руси поразительно. В течение семи столетий (до XVII в.) мы не находим ни следа научной мысли».

Я думаю, последнее обстоятельство можно объяснить ленью византийцев, не потрудившихся внедрить в сознание крещеных ими народов свой язык, создать мост к уровню мысли древних. На Западе латынь стала мостом от Аристотеля к Аквинату. Между тем Кирилл и Мефодий переводили только Библию. Святоотеческие писания, так называемое «Добротолюбие», стало доступным русским лишь в XVIII в., так что Древняя Русь и богословия православного не знала. Русской мысли не за что было зацепиться, с чего начать. Впоследствии славянофилы пришли к истокам православия через Шеллинга, либералы учились у Гегеля, радикалы – у Фейербаха. Что же было почвой великой русской литературы XIX века?

Я думаю, вызов хаоса. Восточные славяне были переимчивы. Там, где влияние было однозначным, они просто усваивали местные одежду и нравы,

как терские казаки. Но Россия в целом складывалась в столкновениях византийского чина и степной воли, деспотизма соседних восточных держав и европейских прав человека. И владыка Антоний Сурожский не даром процитировал Ницше: тот, кто не носит в себе хаос, никогда не родит звезды. У Достоевского эта звезда родилась. Мы находим у него сплетенные в единство отголоски французской, немецкой, английской литературы; замысел «Идиота» сложился после чтения Кальдерона. А на всю структуру романов, начиная с «Преступления и наказания», наложил отпечаток замысел Гоголя: создать русскую «Божественную комедию».

Достоевский этот замысел воплотил сквозь быт: Соня Мармеладова стоит у незримых ворот рая, Свидригайлов – у ворот ада, а между ними мечется герой чистилища, Раскольников. Эта расстановка повторяется в «Братьях Карамазовых», и Зосима говорит, что вопрос Ивана, может, не решится в положительную сторону, но в отрицательную он никогда не решится. И Иван, быть может, никогда не выйдет из чистилища.

Глубинные просветы в мистику есть и в «Идиоте», и в «Бесах». Только в «Подростке» планка снижается и противопоставления, вдохновленные Данте, уступают место спору культур: Версиров расколот между созидательными и разрушительными силами Запада, а образ старца Макара – одна из попыток продолжить византийский след. В разговоре со своим сыном Версиров переносит особенности гения Достоевского на все русское творческое меньшинство, на избранную тысячу:

«У нас созданся веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире... Нас, может быть, всего тысяча человек – может, более, может, менее, – но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу... Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо раньше, чем будет подведен общий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец (то есть общеевропейец – Г.П.)... Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех...»

Целостность взлетов европейско–русской культуры подымается над распрями наций Европы, замкнутых в своих рамках. А в наше время к нам (как впрочем и к другим) обращен вызов мирового хаоса. Этот вызов однако не по плечу среднему интеллигенту. Он прячется от хаоса в какую-то одну идею (западничества или славянофильства, народничества или марксизма); или дает противоречиям разорвать себя на части.

«Я, пожалуй, и достойный человек, – говорит рассказчик в романе «Игрок», – а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть! Да все русские таковы, а знаете почему: потому что русские слишком богато и многосторонне одарены (я бы уточнил: одарены противоположными идеями – Г.П.), чтоб скоро приискать себе пристойную форму. Тут все дело в форме. Большею частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности всего чаще не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. От этого так много форма у них и значит».

Слово «форма» повторяется здесь пять раз. На перекрестке между нациями и цивилизациями брезжит возможность создать новую форму, оформить ядро новой цивилизации. Но это удалось один раз, в Тибете, благодаря горам, избавившим (до самого XX в.) от защиты границ. В России была противоположная ситуация: перекресток, открытый нападением со всех сторон, требовал воинов, и воины были глухи к задачам культуры; только указ о вольности дворянства открыл дорогу версильской «тысяче», тысяче одиноких гениев.

Господствует, – как пишет об этом Синявский, в «Голосе из хора», «текучесть, аморфность, готовность войти в любую форму... Мы чутки ко всяким идейным влияниям, настолько, что в какой-то момент теряем лицо и становимся немцами, французами, евреями и, опомнившись от духовского плена, бросаемся в противоположную крайность, застываем в

подозрительности и низколобной вражде ко всему иноземному... Мы – консерваторы, потому что мы нигилисты, и одно оборачивается другим и замещает другое в истории... Мы держимся за форму, потому что нам не хватает формы, пожалуй, это единственное, чего нам не хватает, у нас не было и не может быть иерархии или структуры...» Я думаю, что Синявский имеет в виду внутреннюю структуру личности, ценностей незыблемую скалу, вошедшую в плоть и кровь.

В течение почти всего XX века ломались какие бы то ни было структуры. Разрушена была полностью сельская жизнь, весь образ жизни подавляющего большинства народа. Масса людей была вырвана из расшатанной, но еще живой дописьменной культуры и колеблется на уровне полуобразованности. А Монтень был прав: хорошие люди философы и хорошие люди простые крестьяне, но все зло от полуобразованности. Аморфная полуобразованность не знает, чего она хочет, не умеет делать разумный выбор, ей нужен вождь, Гитлер, Сталин, аятолла Хомейни. К парламентскому правлению она не способна.

Сегодня важнее всех экономических реформ – хорошая школа (я это повторяю с 1987 г.), школа, способная повысить уровень интеллектуальной и нравственной образованности до того минимума, которого еще в XIX в. достигла Дания благодаря народным университетам пастора Грундтвига. Важнее всех реформ – достичь такого уровня диалога, при котором цивилизованный стиль полемики становится опорой общественного порядка, о каких бы предметах ни шел спор. Итогом всех дискуссий, в которых я принимал участие, всех попыток прорваться сквозь облако мифов и туман абстракций, был вывод: стиль полемики важнее предметов полемики. Предметы споров в английском парламенте постоянно менялись, но стиль полемики оставался незыблемым с XVIII в., и он предохранил Англию от кризисов, пережитых Россией и (к счастью, недолго) Германией. В России складывались, накануне революции, образцы вдумчивого спора, но приход к власти Ленина отбросил страну к страстной захваченности Белинского: «Нет, что бы вы ни сказали, я ни в чем с вами не соглашусь!» И Солженцын

признавался Шмеману, что Ленин – одно из его воплощений в «Красном колесе»; ибо (так думал Александр Исаевич) с ленинским наследием можно бороться только ленинскими приемами спора.

Всему этому противостоит стиль «Дневников» Александра Шмемана. Никто в России и может быть в русском зарубежье не нашел такого равновесия между захваченностью тревогами современности и глубоким внутренним покоем, не умел так взлетать над крайностями и сохранять сочувствие к тому, что этого заслуживает, при беспощадной критике заносов мысли. И я вижу в стиле «Дневников» выход из нынешнего кризиса.